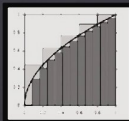


ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ



# Евгений Замятин

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ  
РОМАНОВ-АНТИУТОПИЙ

# МЫ



«...этот роман — сигнал о двойной опасности, угрожающей человечеству:  
от гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства».

*Евгений Замятин*



ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

# Евгений Иванович Замятин

## Мы

Серия «Шедевры мировой  
литературы (АСТ)»

*Текст книги предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=70064392](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70064392)*

*Мы. Роман: АСТ; Москва; 2024*

*ISBN 978-5-17-154982-4*

### Аннотация

Евгений Замятин, Олдос Хаксли и Джордж Оруэлл создали портрет тоталитарной системы в интерьере XX века, и каждый запечатлел свою голову трехглавого Цербера, который стережет души, не позволяя им вырваться из ада несвободы. Каждый из этой троицы писал одну из створок триптиха, пытаясь заставить людей ужаснуться и сделать шаг назад от края пропасти. Они предостерегали, вселяя в пас надежду: если предупрежден, значит, вооружен.

«...Этот роман – сигнал о двойной опасности, угрожающей человечеству: от гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства».

*Евгений Замятин*

# Содержание

Вступление	5
Мы[22]	42
Запись 1-я	42
Запись 2-я	58
Запись 3-я	78
Запись 4-я	90
Запись 5-я	100
Запись 6-я	107
Запись 7-я	118
Конец ознакомительного фрагмента.	124

# Евгений Иванович Замятин

## Мы

### *Роман*

\* \* \*

© Марианна Алферова, вступление, комментарии, послесловие, ил., 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2024

# Вступление

Евгений Иванович Замятин родился 20 января (1 февраля) 1884 года в городе Лебедин Тамбовской губернии, умер 10 марта 1937 года в Париже.

Замятин известен прежде всего как автор романа «Мы», хотя обратил на себя внимание своими повестями и рассказами, написанными в стиле, который сам Замятин называл неореализмом.

Член партии большевиков, сидевший в тюрьме и при царском правительстве, и после революции, инженер по образованию, наблюдавший за строительством ледоколов на английских вервях, получивший прозвище «англичанин» и относившийся с высокомерным презрением к Англии, изгнанный из Советского Союза, но так и не отказавшийся от советского паспорта и считавший себя за рубежом советским писателем, Замятин создал одну из самых отвратительных картин будущего, предостерегая от машинного рая, а в итоге предсказал зарождение тоталитаризма.

С молодых лет Евгения Замятина привлекала революционная романтика, его арестовывали, высылали, запрещали жить в Петербурге. В революционные дни 1905 года он счастливо избежал казни, посидел в одиночке на Шпалерной, затем был выслан в родную Лебединь. «Сидел в одиночке пока всего только два раза: в 1905–6 году и в 1922 г.;

оба раза – на Шпалерной и оба раза, по странной случайности, в одной и той же галерее. Высылали меня трижды: в 1906 г., в 1911 г. и в 1922 г. Судили один раз: в Петербургском Окружном Суде – за повесть „На куличках“», – писал Евгений Замятин во втором варианте своей автобиографии. Революция для него – огнеглазая любовница, жестокость которой не отпугивает, а, наоборот, привлекает поклонников. «Старый мир, с его военщиной, неравенством, ожесточенной борьбой классов, национальной и расовой враждой – болен неизлечимо и обречен на гибель»<sup>1</sup>, – считал писатель.

---

<sup>1</sup> Евгений Замятин. Вступительная статья к роману Г. Уэллса «Машина времени».



Портрет Е. И. Замятина. Борис Кустодиев, 1923 г.



Политехнический университет



Высочайше утвержденъ:

16-го Августа 1781 года.

Тамбовскаго Намѣстничества



Лебедянь.

Тамбовской губерніи. Уѣздный.

Въ верхней части щита гербъ Тамбовскій. Въ нижней—  
птица лебедь, въ голубомъ полѣ, означающая имя  
сего города.

Герб города Лебедянь, где прошло детство писателя

Революционная деятельность порой мешала учебе, но все же в 1908 году Замятин окончил Политехнический университет, а вскоре к нему пришел и литературный успех после публикации повести «Уездное». Картина провинциальной жизни, написанная с тошнотворными подробностями, открыла целый ряд гиперреалистически отталкивающих повестей и рассказов молодого автора.



Панорама Ньюкасла, 1950 г.

Во время Большой войны, как тогда называли Первую ми-

ровую, в 1916 году Замятина как морского инженера отправили в командировку в Великобританию для участия в строительстве заказанных Россией ледоколов на верфях Ньюкасла, Глазго и Сандерленда. Здесь Замятин выступал как представитель заказчика при строительстве ледоколов.

К ледоколам он относился с особой любовью, для него они были куда привлекательнее, нежели люди. Вот что Замятин пишет в своей статье: «О моих женах, ледоколах и России»:

«Их (*ледоколов*) еще мало, их всего только штук двенадцать на четыре русских моря. Дед всех ледоколов – это „Ермак“, и это самый большой из построенных до сих пор ледоколов. Дед „Ермак“ жив и работает до сих пор: так прочно и надежно строили англичане в те годы, когда еще прочен и надежен был их фунт стерлингов. Построен был „Ермак“ на заводе Армстронга в Нью-Кастле, а основы проекта этого первого ледокола были разработаны адмиралом Макаровым, погибшим во время Русско-японской войны.

<...>

И затем во время войны – сразу целый выводок, целая стая ледоколов: „Ленин“ (прежнее, дореволюционное имя „Ленина“ было „Святой Александр Невский“), „Красин“ (до революции „Святогор“), два близнеца – „Минин“ и „Пожарский“ (не помню их новых имен), „Илья Муромец“ и штук пять маленьких ледоколов. Все эти ледоколы были построены в Англии, в Нью-Кастле и на заводах около Нью-Кастля; в каждом из них есть следы

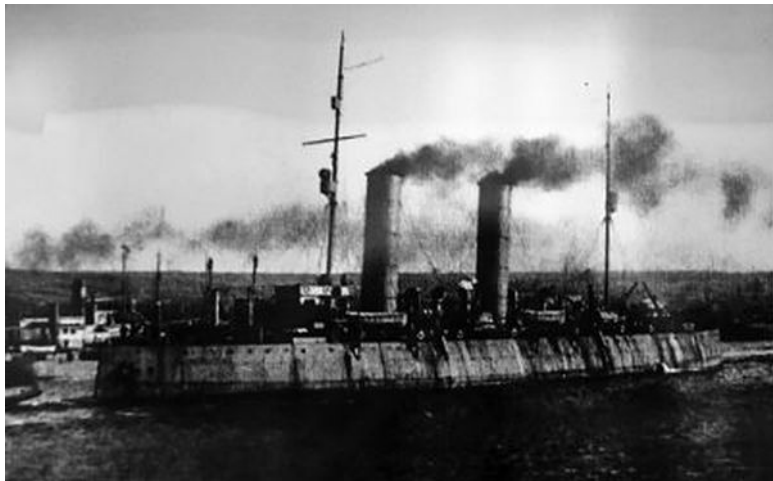
моей работы, и особенно в „Александре Невском“ – он же „Ленин“: для него я делал аванпроект, и дальше ни один чертеж этого корабля не попадал в мастерскую, пока не был проверен и подписан: Chief surveyor of Russian Icebreakers Building E. Zamiatin<sup>2</sup>».



Ледокол «Ермак», 1917 г.

---

<sup>2</sup> «Главный инспектор строительства русских ледоколов Е. Замятин» (англ.)



Ледокол «Святогор», 1917 г.

В 1917 году Замятин вернулся на Родину, а в память о своем пребывании в Англии написал повесть «Островитяне», пристрастную, едкую, хотя и талантливую сатиру на английскую жизнь.

После возвращения в Россию Замятин сблизился с Максимом Горьким, участвовал в его проектах по спасению культуры, поскольку после революции ее, культуру, и литературу в том числе, срочно приходилось спасать, правда, зачастую без особого успеха.

«Значение Замятина в формировании молодой русской литературы первых лет советского периода – огромно. Им был организован в Петрограде, в Доме искусств, класс худо-

жественной прозы. В этой литературной студии под влиянием Замятина объединилась и сформировалась писательская группа „Серапионовых братьев“: Лев Лунц, Михаил Слонимский, Николай Никитин, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, а также – косвенно – Борис Пильняк, Константин Федин и Исаак Бабель. Евгений Замятин был неугомонным и превратил Дом искусств в своего рода литературную академию. Количество лекций, прочитанных Замятиным в своем классе, лекций, сопровождавшихся чтением произведений „Серапионовых братьев“ и взаимным обсуждением литературных проблем, и, разумеется, прежде всего проблем литературной формы, – было неисчислимо», – вспоминал Юрий Анненков в «Дневнике моих встреч».



Февральская революция, Петроград, митинг перед Таврическим дворцом, 1917 г.



Большевик. Борис Кустодиев, 1920 г.

Послереволюционная жизнь не особенно вдохновляла писателя. Уже в 1919 году он отчетливо видит, что вблизи революция оказалась вовсе не огнеокой красавицей, а новым «Уездным», где власть получил все тот же обобщенный Барыба с каменными челюстями, способными перемалывать людские судьбы как мелкие камешки:

«Россия, старая наша Россия, умерла. Какие-то черви неминуемо должны были явиться и истребить ее огромный и тучный труп. Черви нашлись, слепые, мелкие, голодные, жадные, как и полагается быть



червям. Пусть они отвратительны, эти черви, но социологу ясно: они были нужны. Кто-то должен разрушать трупы.

И вот России уже нет, и нет ее трупа. От России остался один только жирный перегной – жирная, неоплодотворенная, незасеянная земля. Работа разрушения кончена: время творить. Кто-то должен прийти, вспахать и засеять то пустынное черноземное поле, которое было Россией. Но кто же?

Мы знаем одно: эта работа не для червей. Эта работа под силу только народу. Не оперному большевистскому „народу“, насвистанному для вынесения бесчисленных резолюций о переименовании деревни Ленивки в деревню Ленинку, а подлинному Микуле Селяниновичу, который лежит сейчас связан, с заткнутым ртом.

Идеология тех, кому история дала задачу разложить труп, естественно должна быть идеологией разложения. Конечная цель разложения: это nihil, ничто, пустыня. Вдохновение разрушительной работы – это ненависть. Ненависть – голодная, огромная, ненависть – великолепная для того, чтобы одушевить разложение. Но по самой своей сути – это чувство со знаком минус, и оно способно организовать только одно: организовать разложение.

Партия организованной ненависти, партия организованного разрушения делает свое дело уже полтора года.

И свое дело – окончательное истребление трупа

старой России – эта партия выполнила превосходно, история когда-нибудь оценит эту работу Это ясно.

Но не менее ясно, что организовать что-нибудь иное, кроме разрушения, эта партия, по самой своей природе, не может. К созидательной работе она органически не способна. К чему бы она ни подходила, за что бы она ни бралась, вероятно, с самыми искренними и лучшими намерениями, все обращалось в труп, все разлагалось.

<...>

Пока ясно одно: для созидания материальной оболочки, для созидания тыла новой России разрушители непригодны. Пулеметом нельзя пахать. А пахать давно уже пора»<sup>3</sup>.

В 1920 году (точная дата создания текста так и не установлена) Евгений Замятин написал свой самый знаменитый роман «Мы».

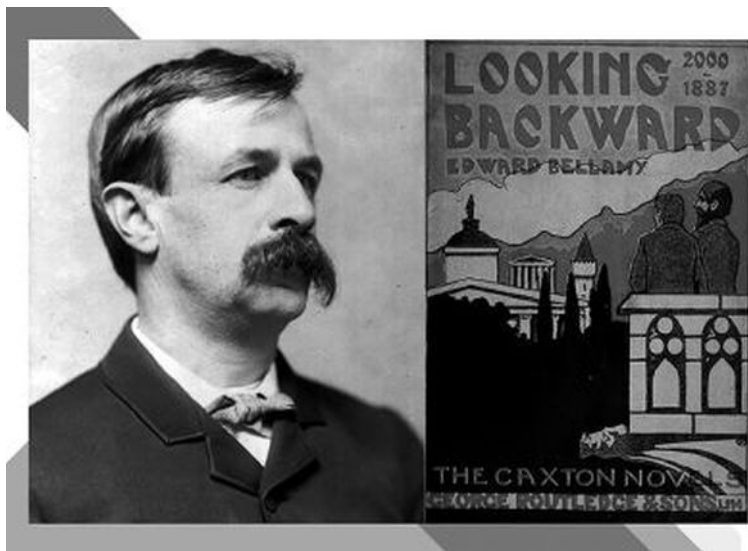
Прообразами антиутопии могли служить книга Беллами<sup>4</sup> «Через сто лет» – картина непрерывной и постоянной работы на огромную сверхкорпорцию, которая обеспечивает человеку материальные блага, и роман Герберта Уэллса «Когда спящий проснется». Были и другие предшественники. Александр Богданов в своих социалистических утопиях рисовал

---

<sup>3</sup> Евгений Замятин. «Беседы еретика». Статья впервые опубликована в газете «Дело народа». 20 марта 1919 г. (подпись: М. П.). Газета центристской партии социал-революционеров.

<sup>4</sup> Эдвард Беллами (1850–1898) – американский публицист, политический мыслитель социалистического толка, автор психологических и утопических романов.

идеально организованный мир-фабрику Сходство с романом «Мы» можно усмотреть в антиутопическом рассказе Николая Федорова «Вечер в 2217 году» (опубликован в 1906 году). Здесь многое как в замятинской антиутопии: обобществление детей и упразднение семьи, евгеника, «воздушники» и «самодвижки», личные номера, обязательная трудовая повинность и т. п. Есть там и бережно законсервированный «старый уголок» с цветником и газетным киоском — что-то вроде «Древнего Дома» в романе «Мы».



Эдвард Беллами и обложка романа «Looking Backward: 2000–1887» («Через сто лет»)



«Когда спящий проснется», иллюстрация к роману. А. Ланос, 1899 г.

Сам роман был задуман как протест против машинной цивилизации, а первые наброски были сделаны Замятиным еще в повести «Островитяне». Один из персонажей повести викарий Дьюли сочиняет трактат «Завет принудительного спасения» – прообраз Часовой Скрижали Единого Государства. Завет регламентирует по часам каждый день: работу, быт и

даже секс с женой. «Жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели. С механической – понимаете? И если нарушается работа хотя бы маленького колеса... Ну, да вы понимаете...»<sup>5</sup> По мысли Дьюли, пусть люди будут лучше рабами Господа, чем свободными сынами сатаны. Здесь уже появляются и «Великая Машина Государства» и механически кивающая круглая, «как футбольный шар» голова. Так же в повести фигурирует «принудительное спасение». Известный критик Александр Воронский<sup>6</sup>, написавший немало надуманных обвинений в адрес Евгения Замятина, в данном случае справедливо заметил, что повесть «Островитяне» при всех ее достоинствах, получилась на редкость однобокой.

---

<sup>5</sup> Евгений Замятин. «Островитяне».

<sup>6</sup> А. К. Воронский (1884–1937) – революционер, писатель, критик и теоретик искусства. Лидер литературной группы «Перевал», выступавшей, в частности, против «одеждынивания» поэзии; главный редактор литературных журналов «Красная новь» и «Прожектор». Воронскому посвящена поэма Есенина «Анна Снегина».



В лекции «Современная русская литература» Е. Замятин одной из черт неореализма, движения, к которому он себя причислял, называл антиурбанизм, обращенность «в глушь, в провинцию, в деревню, на окраины», потому что «жизнь больших городов похожа на жизнь фабрик: она обезличивает, делает людей какими-то одинаковыми, машинными». В этом парадокс творчества Евгения Замятина: он призывал обратить свой взгляд на деревню, будучи сам плоть от плоти века угля и стали.

Главный труд Замятина так и не был напечатан в Советской России. Собратья по перу увидели в романе вовсе не ужасы далекой и «бездушной» Англии и воспевание природной дикой стихии Застенья, а пародию на российскую революцию.

Уже в 1921 году Замятин очень верно разглядел появление выводка «юрких» писак, готовых обслуживать интересы новой власти. А тот, кто не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, чтобы заработать себе на кусок хлеба.

В своей статье «Я боюсь» Замятин пишет:

«Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики». Любая другая

литература – «бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло».

Свою манеру письма Замятин сравнивал с рассматриванием кожи под микроскопом. В первый момент человеку бывает жутко: «вместо вашей розовой, нежной и гладкой кожи – вы увидите какие-то расселины, громаднейшие бугры, ямы; из ямы тянется что-то толщиной в молодую липку – волос; рядом здоровенная глыба земли – пылинка...

То, что увидите, будет очень мало похоже на привычный вид человеческой кожи и покажется *неправдоподобным*, кошмарным. Теперь задайте себе вопрос: что же есть более настоящее, что же есть более реальное – вот эта ли гладкая, розовая кожа – или эта, с буграми и расселинами? Подумавши, мы должны будем сказать: *настоящее, реальнее* – вот эта самая *неправдоподобная* кожа, какую мы видим через микроскоп.

Вы понимаете теперь, что кажущаяся с первого взгляда неправдоподобность, кошмарность – открывает собой истинную сущность вещи, ее реальность больше, чем правдоподобность»<sup>7</sup>.

Новый мир, по мысли Замятина, требовал новой литературы и нового языка для его описания.

«В наши дни единственная фантастика – это вчерашняя жизнь на прочных китах. Сегодня Апокалипсис можно из-

---

<sup>7</sup> Евгений Замятин «Очерк новейшей русской литературы».



давать в виде ежедневной газеты; завтра – мы совершенно спокойно купим билет в спальном вагоне на Марс. <...> И искусство, выросшее из этой сегодняшней реальности, – разве может не быть фантастическим, похожим на сон?» – писал Замятин в статье «О синтетизме».

В лекции «О языке» (1920–1921) Замятин утверждал, что язык прозы должен быть «языком изображаемой среды и эпохи». Поэтому он создает для своего фантастического романа особый язык и свою пунктуацию, постоянно используя обрывы фраз и вместо многоточия – два тире.

В 1921 году Замятин предложил только что написанный роман петроградскому издательству «Алконост» и одновременно отправил рукопись «Мы» в Берлин, в издательство Гржебина, с которым был связан контрактами. Однако на родине первые читатели романа пришли в возмущение. В 1922 году Михаил Пришвин записал в дневнике, что свой роман Замятин построил «на обывательском чувстве протеста карточной системе учета жизни будущего социалистического строя и, взяв на карту эротическое чувство... привел идею социализма к абсурду».

Роман «Мы», оставшийся в рукописи, пространно цитировали в печати только для того, чтобы осудить, а самого писателя пнуть как можно сильнее. Так, в статье 1922 года критик А. Воронский писал: «В великой социальной борьбе нужно быть фанатиком. Это значит: подавить беспощадно все, что идет от маленького зверушечьего сердца, от лично-

го, ибо временно оно вредит, мешает борьбе, мешает победе. Все – в одном – только тогда побеждают». В 1937 году сам критик был обвинен в шпионаже, репрессирован и расстрелян.

Не понравился роман и Максиму Горькому, который в личной переписке заметил: «Вещь отчаянно плохая. Усмешка – холодна и суха, это – усмешка старой девы». Еще резче дает оценку в своем дневнике Корней Чуковский: «Роман Замятина „Мы“ мне ненавистен. Надо быть скопцом, чтобы не видеть, какие корни в нынешнем социализме».

«По существу, вина Замятина по отношению к советскому режиму заключалась только в том, что он не бил в казенный барабан, не „равнялся“ очертя голову, но продолжал самостоятельно мыслить и не считал нужным это скрывать»<sup>8</sup>, – писал Юрий Анненков.

«Близорукие рецензенты увидели в этой вещи не больше, чем политический памфлет. Это, конечно, неверно: этот роман – сигнал **о двойной опасности, угрожающей человечеству: от гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства.** Американцы, несколько лет тому назад много писавшие о нью-йоркском издании моего романа, не без основания увидели в нем критику фордизма», – пояснял уже сам Евгений Замятин смысл своего романа.

В 1922 году Замятина включили в списки на высылку

---

<sup>8</sup> Юрий Анненков «Дневник моих встреч».

из Советской России, а 17 августа того же года писатель был арестован, высылка была отсрочена до особого распоряжения, заключение длилось почти месяц. Благодаря заступничеству друзей приговор был отменен. Юрий Анненков утверждает, что Замятин был обрадован решению о высылке и расстроился, когда приговор был отменен<sup>9</sup>.

К 1924 году стало ясно, что роман в России не напечатают. Вместо свободы советская литература очутилась в объятиях жесточайшей цензуры, которая только усиливалась год от года. Впервые роман увидел свет в английском переводе Г. Зильбурга – в том же 1924 году, в Нью-Йорке. За этим последовали чешский (Прага, 1927) и французский (Париж, 1929) переводы. По-русски роман «Мы» впервые был издан пражским журналом «Воля России» (№ 2–4 за 1927 год) – без ведома и согласия автора, в сокращенном варианте, причем не в оригинальном виде, а в обратном переводе с чешского языка.

---

<sup>9</sup> Там же.

**WE**  
EUGENE  
ZAMLATIN

**WE** BY  
EUGENE  
ZAMLATIN

DUTTON

Обложка первого издания романа «Мы» на английском языке, Нью-Йорк, 1924 г.

Е. ЗАМЯТИН

≡ **МЫ** ≡



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

Обложка первого издания романа «Мы» на русском языке, издательство А. П. Чехова, Нью-Йорк, 1952 г.

Полный русский текст был впервые напечатан в 1952 году в Нью-Йорке Издательством имени А. П. Чехова. Источником публикации стала, по всей видимости, рукопись, присланная автором в Нью-Йорк для перевода (рукопись эта до сих пор не найдена). В СССР роман впервые вышел только в 1988 году в журнале «Знамя». Сейчас нормативным принято считать текст «Мы», опубликованный в 2011 году, после того как был найден единственный авторский машинописный экземпляр с правкой Л. Н. Замятиной (1930-е годы). Воистину «рукописи не горят». Иногда.

Вот как Замятин, уже в Париже, вспоминал о том, как началась его травля за еще не опубликованный роман.

«В плановом порядке начался обстрел „по квадратам“ отдельных крупных писателей-попутчиков<sup>10</sup> и целых литературных групп. Критические снаряды неизменно были наполнены одним и тем же стандартным газом: обвинение в политической неблагонадежности, причем в это

---

<sup>10</sup> «Попутчик» – термин советских времен, по отношению к писателям попутчики – это те, кто активно не высказывался против советской власти, но не полностью соглашался с ее деятельностью. Этому вопросу посвящено постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы». Согласно этому постановлению писателей делили на три категории: крестьянские писатели, попутчики, пролетарские писатели.

понятие входили теперь „формалистический уклон“, „биологический уклон“, „гуманизм“, „аполитичность“ и так далее. Искренность, талант, художественные средства писателя – обычно оставались вне поля зрения этой критики. Если этот критический метод и не был обременен чрезмерной эрудицией, то своей цели он во всяком случае достигал безошибочно: обстреливаемым оставалось только уйти, как в блиндаж, в свой письменный стол и не показываться на печатном поле...»

Под обстрел критики Евгений Замятин попал на пару с Борисом Пильняком<sup>11</sup> – чей текст также увидел свет за границей. Несмотря на то что роман «Мы» не был напечатан в Советском Союзе, кампания против Замятина и Пильняка длилась в советской печати несколько лет.

---

<sup>11</sup> Б. А. Пильняк (1894–1938) – русский советский писатель, прозаик. Пильняк был самым издаваемым советским писателем и в 1929 году возглавил Всесоюзный союз писателей, в том же году отстранен от руководства ВССП за публикацию в Берлине повести «Красное дерево».





Но, разумеется, официально никакой травли не было, просто воспитывали пишущую братию, чтобы писала «как надо» и стояла на правильной партийной позиции.

«ВССП<sup>12</sup> считает необходимым категорически отвергнуть всякое обвинение в том, что советская общественность и, в частности, ВССП травили Замятина. С нашей точки зрения, неоспоримо то, что большой художественный талант Замятина не дает ему права на забвение интересов страны, писателем и гражданином которой он является. Дорога в советскую литературу не преграждена писателям, которые вместе со всей советской общественностью берут на себя разрешение задач, возлагаемых на нас эпохой. Литературные же организации, в том числе и ВССП, со всей готовностью поддержат их на этом

---

<sup>12</sup> ВССП – Всероссийский союз советских писателей – профессиональная писательская организация для литераторов «старой» (дореволюционной) формации, организованная в 1920 году и существовавшая до 1932 года. Союз создавался как профессиональное объединение литераторов старой формации и молодежи, получившей в 1923 году с легкой руки Л. Д. Троцкого наименование «попутчиков». Первоначально в Союз принимались писатели, журналисты, переводчики на основании литературного стажа. В 1926 году в Союзе состояло 360 литераторов. Кроме ВССП в 20-е существовали еще и более радикальные ассоциации пролетарских писателей, к 1928 году объединенные в ВОАПП – Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей. В 1932 году и ВССП и ВОАПП вошли в Союз писателей СССР.

пути»<sup>13</sup>.

Писателей делили по степени лояльности, как об этом заявил В. М. Молотов на Московской областной партийной конференции 14 сентября 1929 года:

«Дифференциация среди интеллигенции, в частности в среде ее старых кадров, усиливается. За последнее время это находит отражение в ряде новых, заслуживающих внимание фактов. Так, в литературной среде завязалась борьба вокруг вопроса о допустимости для советских писателей печататься в заграничных белогвардейских изданиях, чего еще недавно не наблюдалось. Помещенная Пильняком в эмигрантском берлинском издательстве повесть „Красное дерево“ вызвала в среде литераторов бурю протестов. Этот факт сослужил большую службу в деле дифференциации писательской среды. <...> Можно лишь пожелать, чтобы на борьбе с антисоветскими выступлениями писателей, пропитанных буржуазной идеологией, действительно по-советски стали воспитываться наши писательские кадры»<sup>14</sup>.

Особенно рьяно выступал против Замятина критик Александр Воронский:

«Практически писания Е. Замятина об отшельниках,

---

<sup>13</sup> Литературная газета. 1929. 14 октября.

<sup>14</sup> В. Молотов. Строительство социализма и противоречия роста. Доклад о работе ЦК ВКП(б) на 1-м Московской областной партийной конференции 14 сентября 1929 года. М., 1929. С. 57–58.

еретиках и бунтарях, согнутых в бараний рог большевистской диктатурой, означают не что иное, как призыв к тому, чтобы дали возможность Мережковскому и ему подобным писать о казни при помощи вшей, а Бунину рассказывать о супе из человеческих пальцев»<sup>15</sup>.

«На очень опасном и бесславном пути Замятин. Нужно это сказать прямо и твердо», – уточнял Воронский.

Замятин пытался оправдаться:

«То, что я никогда не скрывал своего отношения к почти повальному литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию – это, мне кажется, является второй причиной травли. Посвященные именно этому вопросу две мои статьи – „Я боюсь“ и „О сегодняшнем и современном“ – вызвали особенные нападки; первая из них едва ли не была исходным пунктом всей восьмилетней газетной журнальной кампании против меня»<sup>16</sup>.

Кампания против Пильняка и Замятина стала первым прецедентом преследования за сам факт зарубежной публикации.

В итоге Замятин решил покинуть Советский Союз, но для этого надо было получить разрешение самого Хозяина. В 1931 году Евгений Замятин обратился к Иосифу Сталину с

---

<sup>15</sup> А. Воронский. *Об отшельниках, безумцах и бунтарях* // Красная новь. 1921. № 1. С. 292–295.

<sup>16</sup> Письмо Евгения Замятина в Управление делами СНК.

просьбой выпустить его за границу:

«Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся, травли. <...> В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжелой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР – с правом для моей жены сопровождать меня»<sup>17</sup>.

Писатель верно оценивал свое будущее положение за границей: «Я знаю: мне очень нелегко будет и за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу – об этом достаточно убедительно говорит мое прошлое (принадлежность к РСДРП(б) в царское время, тогда же тюрьма, двукратная высылка, привлечение к суду во время войны за антимилитаристскую повесть). Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде – меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком»<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Там же.

Поначалу Замятину в отъезде было отказано. Но затем просьба эта была удовлетворена благодаря заступничеству Максима Горького, и в ноябре 1931 года Замятин выехал в Ригу и в феврале 1932-го добрался до Парижа, став последним писателем, отпущенным Сталинским режимом за границу. Судя по всему, Замятин надеялся вернуться в СССР и потому вел себя за рубежом более чем лояльно. Но если в России он не мог найти общего языка с государственной машиной, руководящей литературным процессом, то за границей Замятин позиционировал себя как советский писатель.

Несмотря на критику, в СССР, случалось, все же отдавали дань роману и его автору. Константин Федин о писательской манере Е. Замятина: «Он обладал такими совершенствами художника, которые возводили его высоко. Но инженерия его вещей просвечивалась сквозь замысел, как ребра человека на рентгеновском экране. Он оставался гроссмейстером литературы. Чтобы стать на высшую писательскую ступень, ему не доставало, может быть, только простоты».

А. Воронский, многолетний недруг Замятина, не нашел для романа добрых слов, но отметил производимое им впечатление: «Роман Замятина интересен именно в этом отношении: он целиком пропитан неподдельным страхом перед социализмом, из идеала становящимся практической, будничной проблемой. Роман о будущем, фантастический роман. Но это не утопия, это художественный памфлет о настоящем и вместе с тем попытка прогноза в будущее...

Роман производит тяжелое и страшное впечатление. Написать художественную пародию и изобразить коммунизм в виде какой-то сверх-казармы под огромным стеклянным колпаком неново: так издревле упражнялись противники социализма – путь торный и бесславный...»

Жизнь за границей не сделала Замятина счастливым.

«В Париже он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой», – вспоминала Н. Берберова.

Однако Родина писателя постепенно вползала в эпоху Большого террора, и Замятин понимал, что обратной дороги для него уже нет. К сожалению, даже в Париже не довелось ему пережить 37-й год – он умер от сердечной недостаточности, как тогда говорили – от грудной жабы.



## Могила Замятина на кладбище Тие

Хоронили писателя 12 марта на кладбище Тие в пригороде Парижа, здесь находила последний приют русская беднота. На похороны пришли собраты по писательскому цеху, художники. Юрий Анненков вспоминает, что встретил Мстислава Добужинского, остальных не запомнил – так он был потрясен смертью старого друга. Была на похоронах и Марина Цветаева. Шел дождь, не было церковного отпевания и даже надгробных речей. Вода залила могилу, и гроб опустили прямо в воду. Цветаева о похоронах вспоминала:



«Было ужасно, растравительно бедно – и людьми и цветами – богато только глиной и ветрами – четырьмя встречными»<sup>19</sup>.

«После смерти Евгения Ивановича Людмила Николаевна<sup>20</sup>, несмотря на тяжесть наступившего одиночества, отдала все свое время и свои силы на поиски возможностей спасти произведения Замятина от забвения»<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940. Писатели русского зарубежья. М., 1997.

<sup>20</sup> Супруга писателя.

<sup>21</sup> Юрий Анненков «Дневник моих встреч».

**Мы<sup>22</sup>**

**Запись 1-я**  
**Конспект:**  
**Объявление**  
**Мудрейшая из линий**  
**Поэма**

Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взойдется в мировое пространство\*. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благотельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут,

---

<sup>22</sup> Здесь и далее знаком «\*» отмечены ссылки на комментарии.

что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытаем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнать дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой\*. Потому что линия Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель «Интеграла»\*, – я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства\*, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства\*.

Но я готов, так же как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.

## Комментарии

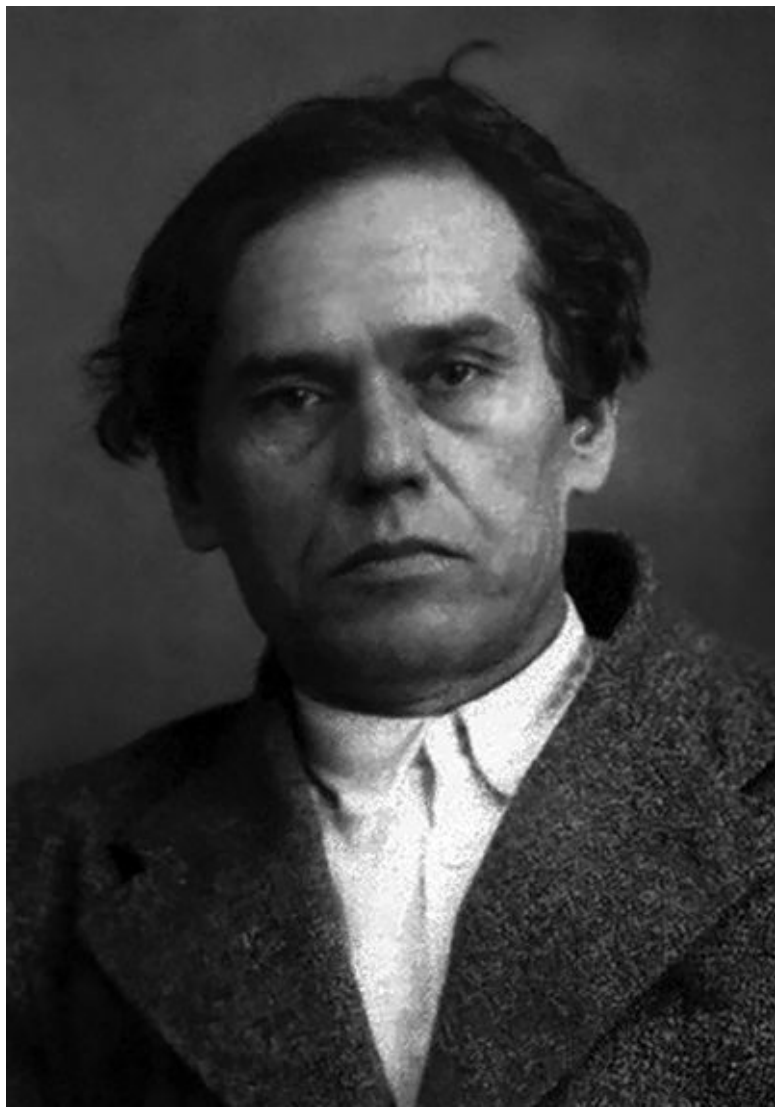
### «МЫ»

Название романа полемизирует с многочисленными творениями пролетарских писателей, которые приходят в экстаз от осознания, что человек – всего лишь крошечная частица варева в огромном котле. Вот строки поэта Владимира Кириллова<sup>23</sup> «Мы»:

«Мы – несметные грозные легионы Труда.  
Мы победили пространства морей, океанов и суши.  
Светом искусственных солнц мы зажгли города, —  
Пожаром восстаний горят наши гордые души».

---

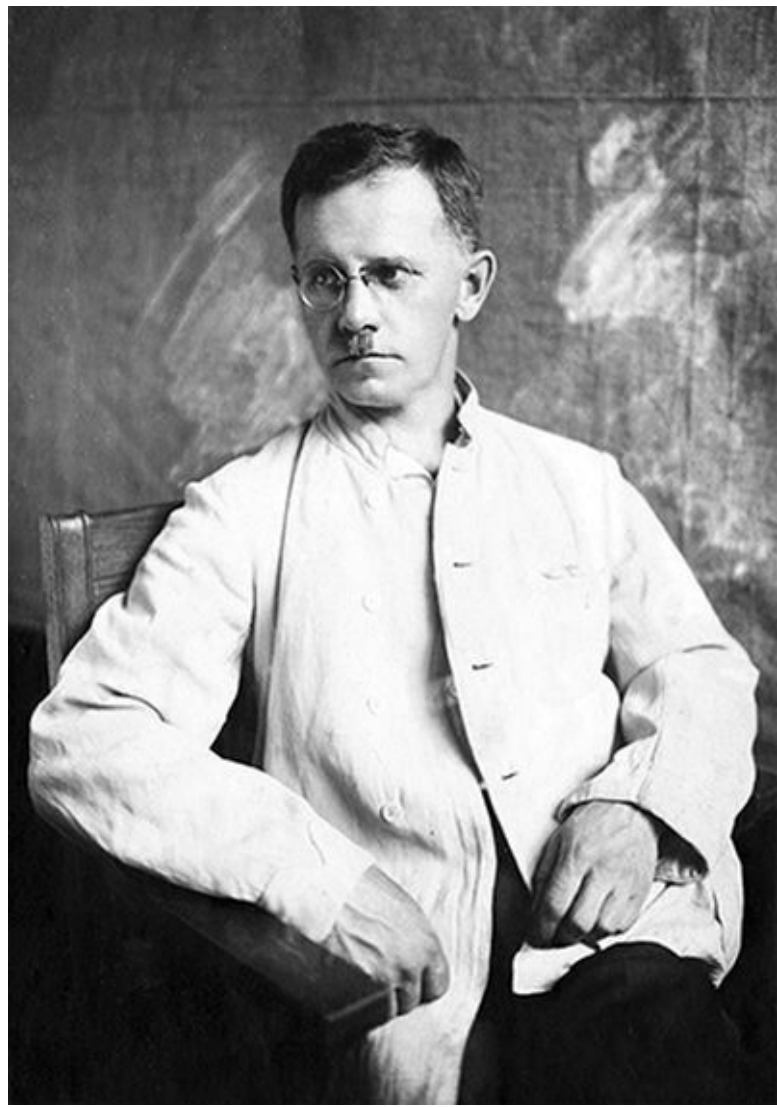
<sup>23</sup> В. Т. Кириллов (1890–1937) – русский революционер, поэт. Представитель «пролетарской поэзии». Первый председатель Всероссийской ассоциации пролетарских писателей.



Еще один воспевальщик мира, где есть «мы», но нет места человеческой личности, отдельному «я» – Алексей Гастев<sup>24</sup> с его «поэзией рабочего удара». «Мы идем!», «Мы посягнули!», «Мы вместе», «Мы всюду». По мысли Гастева, психология пролетария – это психология «механизированного коллективизма», в новом мире «нормализованным» людям будут чужды эмоции.

---

<sup>24</sup> А. К. Гастев (1882–1939) – русский революционер, профсоюзный деятель, поэт и писатель, теоретик научной организации труда. Создатель и руководитель Центрального института труда. Один из идеологов Пролеткульта.

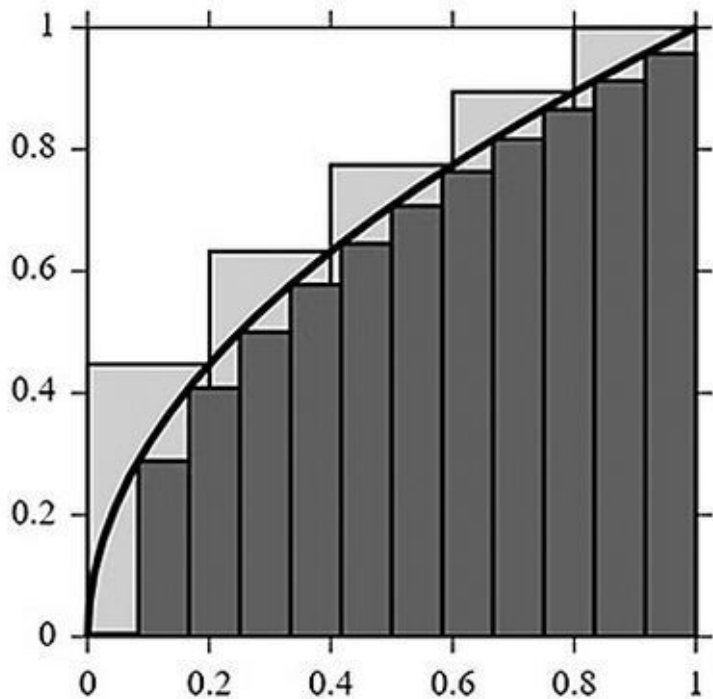


«Мы» считается практически первым романом-антиутопией.

*Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взвовется в мировое пространство.*

*Интегрáл* (от лат. *integer* – «целый») – одно из важнейших понятий математического анализа. Интегрирование используется при решении задач в математике и физике, таких как определение площади под кривой или пройденного пути при неравномерном движении, массы неоднородного тела. Сегодня интегрирование применяют в самых разных научных областях.





*Интеграл. Приближения к интегралу функции от 0 до 1*

Упрощенно интеграл можно представить как аналог суммы для бесконечного числа бесконечно малых слагаемых.

Термин «интеграл» был предложен учеником и сподвижником Лейбница Иоганном Бернулли. Лейбниц первоначально говорил «сумма». Лейбниц использовал обозначение

ние стилизованного S — начальной буквы латинского слова Summa по отношению к предельному значению суммы  $\sum u\Delta x$ . Так как площадь, представляющая это предельное значение, в то же время является первообразной для функции  $u$ , то тот же символ сохранился и для обозначения первообразной функции. Впоследствии, с введением функционального обозначения, стали писать  $\int f(x)dx$ , если речь идет о переменной площади, и  $\int_a^b f(x)dx$  в случае площади фиксированной фигуры ABCD, отвечающей изменению  $x$  от  $a$  до  $b$ .

Во многих вопросах науки и техники приходится искать не производную функции (см. определение производной ниже в комментариях), а, наоборот, по производной находить исходную функцию. Эта исходная функция называется первообразной.

В этом случае говорят также, что функция  $F(x)$  является первообразной (или интегралом) для дифференциального выражения  $f(x)dx$ . В интегральном исчислении систематически употребляются несколько терминов, имеющих слово «интеграл» в своем составе: «неопределенный интеграл», «определенный интеграл», «несобственный интеграл» и др.<sup>25</sup>.

Для Замятина Интеграл играет особую роль в разработке нового литературного направления, которое он называл синтетизмом: «Смещение планов для изображения сегодняш-

---

<sup>25</sup> Комментарий написан на основании книги Г. М. Фихтенгольца «Курс дифференциального и интегрального исчисления».

ней, фантастической реальности – такой же логически необходимый метод, как в классической начертательной геометрии – проектирование на плоскости X-ов, Y-ов, Z-ов. Дверь к этому методу – ценою своих лбов – пробили футуристы. Но они пользовались им, как первокурсник, поставивший в божницу себе дифференциал и не знающий, что дифференциал без интеграла – это котел без манометра. И оттого у них мир – котел – лопнул на тысячу бессвязных кусков, слова разложились в заумные звуки.

Синтетизм пользуется интегральным смещением планов. Здесь вставленные в одну пространственно-временную раму куски мира – никогда не случайны; они скованы синтезом, и ближе или дальше – но лучи от этих кусков непременно сходятся в одной точке, из кусков – всегда целое»<sup>26</sup>.

*Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной.*

*Интегральное уравнение – функциональное уравнение, содержащее интегральное преобразование над неизвестной функцией.*

*Да: разогнать дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой.*

Явная отсылка к «Истории одного города» Салтыко-

---

<sup>26</sup> Евгений Замятин «О синтетизме».

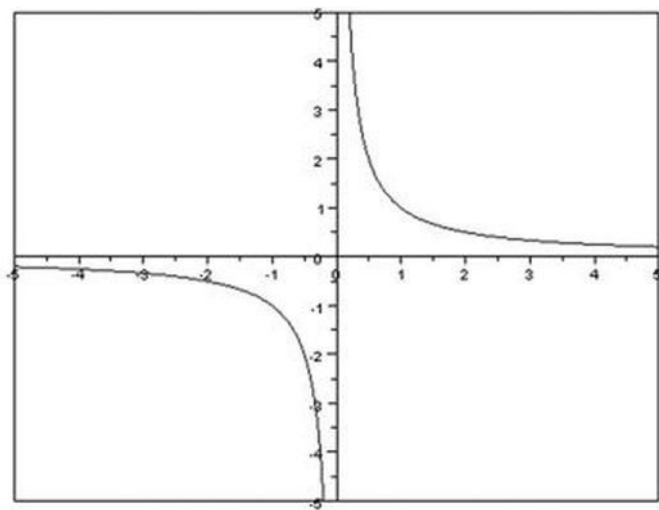
ва-Щедрина:

«Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелляторов этой школы. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни назад ни вперед».



Угрюм-Бурчеев, иллюстрация Н. В. Ремизова, 1907 г.

*Асимптотой* кривой называется прямая, расстояние до которой от точки, лежащей на кривой, стремится к нулю при неограниченном удалении от начала координат этой точки по кривой.



Для гиперболы, функции, асимптотами являются оси абсцисс и ординат

*Прямая* – одно из фундаментальных понятий евклидовой геометрии. Прямые линии принимаются за одно из исход-

ных (неопределяемых) понятий, их свойства и связь с другими понятиями определяются аксиомами геометрии. Прямая, наряду с окружностью, относится к числу древнейших геометрических фигур.

*Я, Д-503, строитель «Интеграла»...*

Имена мужчин образованы из согласных букв с нечетными цифрами, у женщин в именах гласные, а цифры – четные. Д – пятая буква в алфавите, если сложить ее с двумя другими цифрами номера, то получится «13». Число «13» появляется в романе повсюду.

У Замятина была своя теория звукообразов: «Р – ясно говорит мне о чем-то громком, ярком, красном, горячем, быстром. <...> Звуки Д и Т – о чем-то душном, тяжком, о тумане, о тьме, о затхлом. <...> ...О – высокое, глубокое, море, лоно... И – близкое, низкое, стискивающее и т. д.»<sup>27</sup>.

Насквозь рациональный склад ума у Д-503 – от автора, чей «инженерный» подход к прозе отмечали современники. О литературном мастерстве Замятин пишет так, как мог бы написать Д-503, герой романа точно так же любит использовать слово «ясно»: «Для меня совершенно ясно, что отношение между ритмикой стиха и прозы такое же, как отношение между арифметикой и интегральным исчислением. В арифметике мы суммируем отдельные слагаемые, в интегральном исчислении – мы складываем уже суммы, ряды; прозаиче-

---

<sup>27</sup> Юрий Анненков «Дневник моих встреч».

ская стопа измеряется уже не расстоянием между ударяемыми слогами, но расстоянием между ударяемыми (логически) словами»<sup>28</sup>.

*Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства...*

Производная функции – основное понятие дифференциального исчисления. Производная характеризует скорость изменения функции в данной точке. Производная определяется как предел отношения приращения функции к приращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если такой предел существуют. Так же можно сказать, что скорость  $v$  есть производная от пройденного пути  $s$  по времени  $t$ . Если слово «скорость» понимать в более общем смысле, то можно было бы производную всегда трактовать как некую «скорость».

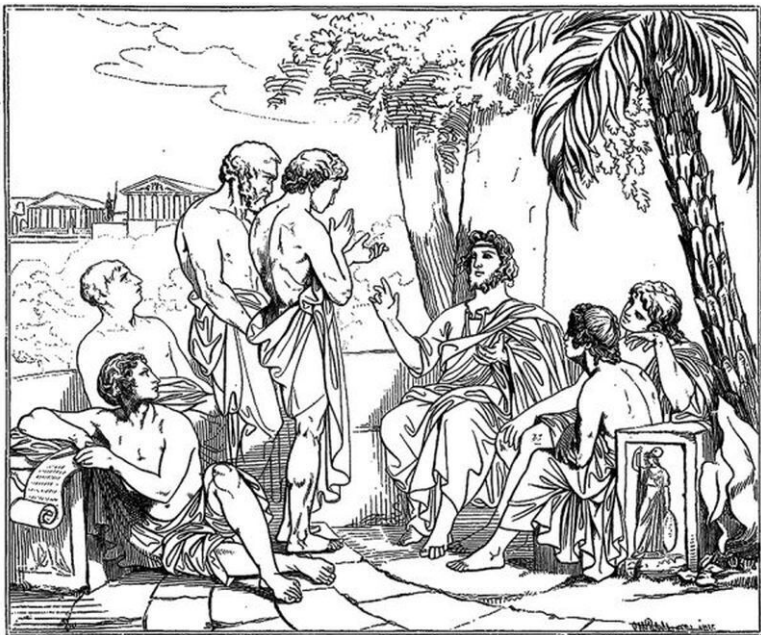
*...с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства*

В Едином Государстве воплощена мечта многочисленных утопистов от Платона и до нынешних дней – отобрать детей у родителей и сделать их собственностью государства.

---

<sup>28</sup> Евгений Замятин «Закулисы».





Платон с учениками в Академии. Рисунок по картине шведского художника Карла Йохана Вальбома

# **Запись 2-я**

## **Конспект:**

### **Балет**

#### **Квадратная гармония**

#### **Икс**

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие губы у всех встречаемых женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубину вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где

строится «Интеграл»\*, и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше сам с собою: почему красиво? Почему танец красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы в теперешней нашей жизни – только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я поднимаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная\*, и розовое О – рот – раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще всю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной

мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.  
– Чудесно. Не правда ли? – спросил я.  
– Да, чудесно. Весна, – розово улыбнулась мне О-90.  
Ну вот, не угодно ли: весна... Она – о весне. Женщины...  
Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера – сотни, тысячи номеров, в голубоватых юнифах<sup>29\*</sup>, с золотыми бляхами на груди – государственный номер каждого и каждой\*. И я – мы, четверо, – одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа – два каких-то незнакомых номера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица... Лучи – понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же как это было утром, на эллинге, я опять

---

<sup>29</sup> Вероятно, от древнего *Uniforme*. – Здесь и далее примеч. автора.

увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг\*. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение – прыжок через века, с + на –. Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) – мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было – это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо – смех – справа. Обернулся: в глаза мне – белые – необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

– Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой почти-тельностью (может быть, ей известно, что я – строитель «Интеграла»). Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то стран-

ный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение\*.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

– Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги – ведь это тоже было – и следовательно...

– Ну да: ясно! – крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она – почти моими же словами – то, что я записывал перед прогулкой). – Понимаете: даже мысли.

Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

– Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови – как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево – и...

Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее номер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке\*; и с краю нашей четверки – неизвестный мне мужской номер – какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд — и со вздохом:

— Да... Увы!





В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я с необычайной для меня резкостью сказал:

– Ничего не увы. Наука растет, и ясно – если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

– Даже носы у всех...\*

– Да, носы, – я уже почти кричал. – Раз есть – все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос «пуговицей», а у другого...

– Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм\*. Я протянул руку и – по возможности посторонним голосом – сказал:

– Обезьяны.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

– Да это прелюбопытный аккорд, – она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90\*.

Уж лучше бы молчала – это было совершенно ни к чему. Вообще эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка долж-

на быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем S-образным мужским номером. У него такое внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его – сейчас не вспомню.

На прощание I – все так же иксово – усмехнулась мне:

– Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

– Если у меня будет наряд именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

– Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член\*. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой O.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне – налево.

– Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... – робко подняла на меня O круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день послезавтра. Это просто все то же самое ее «опе-

режение мысли» – как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен, три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

## Комментарии

*Нынче утром был я на эллинге, где строится «Интеграл»...*

Эллинг (нидерл. *helling*) – сооружение для постройки или ремонта в воздухоплавании и судостроении.



## Эллинги

*Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная...*

В Едином Государстве рожать детей могут только женщины высокого роста – слишком маленькие, как О-90 (ниже материнской нормы), не имеют права иметь детей.

*Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых*

юнифах, с золотыми бляхами на груди – государственный номер каждого и каждой.

Почему «нумера», а не «номера» – допытывался Юрий Анненков у Замятина. Слово «нумера» ему не нравилось, якобы ненужное искажение.

«– Так ведь это не русское слово, – ответил Замятин, – исказить не обязательно. По-латински – *numerus*; по-итальянски – *numêro*; по-французски – *numero*; по-аглицки – *number*; по-немецки – *Nummer*... Где же тут – русское? Где же тут О?»<sup>30</sup>

Потом, наливая чай в стакан, Анненков неожиданно вспомнил «фразу Ф. Достоевского в „Идиоте“ о том, что князю Мышкину в трактире на Литейной „тотчас же отвели номер“, и что у Гоголя в „Мертвых душах“ Чичиков, остановившись в гостинице, поднялся в свой „номер“».

«– Ну вот видишь, – засмеялся Замятин, – с классиками спорить не приходится»<sup>31</sup>.

В коротком рассказе Джерома К. Джерома «Новая утопия» описан аналогичный мир. Можно было бы счесть его пародией на роман «Мы», вот только рассказ Джерома написан за тридцать лет до романа Евгения Замятина. Неизвестно, читал ли Замятин этот рассказ, но вполне вероятно, что читал – слишком велики совпадения.

---

<sup>30</sup> Юрий Анненков «Дневник моих встреч».

<sup>31</sup> Там же.



Isaac J. Brown

Джером К. Джером

«Мы пошли по городу. Город был чистый и тихий. Улицы, помеченные номерами, выбегали под прямыми углами одна к другой, и были похожи одна на другую. Лошадей и экипажей не было видно; транспортом служили электрические вагоны. Все люди, которых мы встречали, хранили на лице спокойное, важное выражение и до того были похожи друг на друга, что казались членами одной семьи. Все были одеты, как и мой спутник, в пару серых брюк и серую тунику, туго застегнутую на шее и стянутую у талии поясом. Все были гладко выбриты и черноволосы».

«Теперь это установленный цвет волос, – объяснил мне мой спутник, – у всех у нас черные волосы. У кого они не черного цвета, тот обязан их выкрасить».

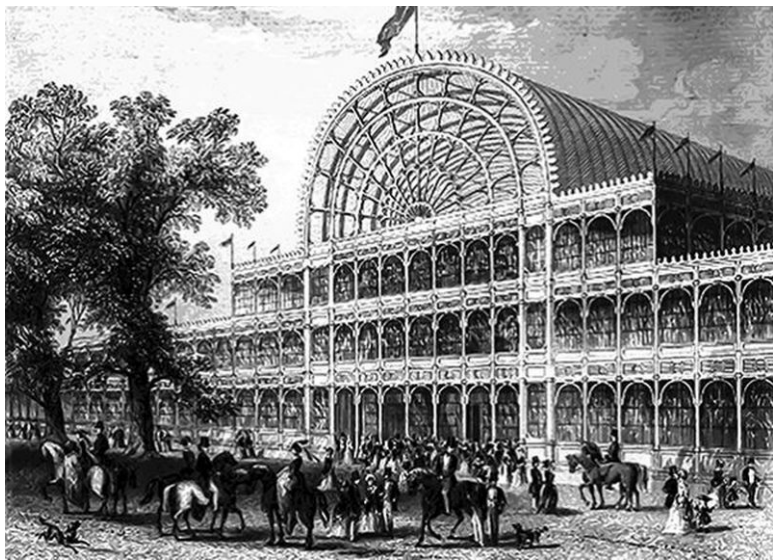
При этом все обитатели «Новой утопии» носят жетоны с номерами (герой поначалу принимает их за начищенные бляхи полисменов и дивится, для чего столько служителей порядка), четные номера – у женщин, нечетные – у мужчин, совсем как у Замятина. Номера на юнифах жителей Единого Государства Замятин тоже называет бляхами по ассоциации с бляхами английских полисменов.

У Джерома все всё делают сообща. Государство само производит умывание, и каждого гражданина отныне умывают дважды в день специально назначенные государством чиновники; частное же умывание запрещено.

*...непреложные прямые улицы, брызжащее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг.*

Стеклянная архитектура – традиционный для русской утопической мысли образ. Уже в утопических «Петербургских письмах» Одоевского «на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белую черепицей»; у Чернышевского Вера Павловна видит во сне счастливое социалистическое общество, живущее во дворцах, где «чугун и стекло, чугун и стекло – только». У этих дворцов был реальный прообраз – Хрустальный дворец из чугуна и стекла площадью 90 000 м<sup>2</sup>, построенный Джозефом Пакстоном по образцу оранжереи в лондонском Гайд-парке ко Всемирной выставке 1851 года. Хрустальный дворец стал символом научного прогресса, промышленности, рационального устройства быта.





Хрустальный дворец. Подготовка экспозиции для выставки, посвященной Большой войне. Музей и выставка Великой Победы, 1920 г.

Прозрачность стекла символизирует коллективную жизнь. У Чернышевского люди будущего делают все сообща: принимают пищу и воспитывают детей, и только на время удаляются по двое в специально отведенные комнаты; почти как у Замятина опускают шторы в «сексуальные часы».

Достоевский в «Записках из подполья» рассказывает про рационально устроенное счастье: «...Тогда, говорите вы, сама наука научит человека... что ни воли, ни каприза на са-

мом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органического штифтика», все поступки человеческие «будут рассчитаны... и занесены в календарь... <...> Тогда выстроится хрустальный дворец».

*Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.*

χ – обозначение неизвестного, так же обозначение аргумента функции.

*...резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330... О, совсем другая, вся из окружностей...*

Каждый герой соответствует присвоенной букве. О – круглая, I – прямая и стройная, графически латинская буква I – одновременно римская цифра «1», единица, индивидуальность в мире коллективизма, а по-английски I – это «я»: противоположность «Мы».

*даже носы у всех...*

У Джерома в «Новой утопии» уравнивают не только носы, но и ноги с руками и мозги, доводя «уравниловку» до абсурда.

«– Видите ли, если кто-либо вырастает больше обыкновенных размеров, мы отрезаем ему руку или

ногу, чтобы подравнять его с остальными. Природа, понимаете ли, немного отстала от века; по мере возможности, мы стараемся ее подправить.

– А что вы делаете с исключительно умным человеком?

– О, теперь нас это мало беспокоит. Теперь мы надолго гарантированы от подобной опасности. Если это случается, мы делаем хирургическую операцию, которая низводит данный мозг до степени обыкновенного»<sup>32</sup>.

*Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм.*

Покрытые волосами руки главного героя являются одним из главных символов романа – это символ давнего, древнего, животного, полного сил мира, хотя герой считает свою волосатость атавизмом.

Главный физический признак Д-503 получил от автора. Корней Чуковский в своем дневнике так написал о Замятине: «Жесты его волосатых рук были спокойны, он курил медленно».

*– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90.*

Сразу после революции идеи упорядочить половую жизнь были весьма популярны. Особенно казалась соблазнитель-

---

<sup>32</sup> Эта идея тоже получила продолжение в романе Замятина.

ной некоторым революционерам мысль об обобществлении жен. В «Двенадцати половых заповедях революционно-го пролетариата» Арон Залкинд декларировал право класса «вмешаться в половую жизнь своих сочленов», чтобы направлять их «по линии социализирования сексуальности, облагорожения, енгенирования ее». Свой *Lex sexualis* можно найти у каждого утописта, начиная с Платона и продолжая последователями Замятина.

*На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член.*

Иррациональное уравнение – уравнение, содержащее неизвестное под знаком корня или возведенное в степень, которую нельзя свести к целому числу. Всякое иррациональное уравнение с помощью элементарных алгебраических операций (умножение, деление, возведение в целую степень обеих частей уравнения) может быть сведено к рациональному алгебраическому уравнению. При этом полученное рациональное алгебраическое уравнение может оказаться неэквивалентным исходному иррациональному уравнению, оно может содержать «лишние» корни, которые не будут корнями исходного иррационального уравнения. Поэтому, найдя корни полученного рационального алгебраического уравнения, необходимо проверить, будут ли все корни полученного рационального уравнения корнями исходного иррациональ-

ного уравнения.

# **Запись 3-я**

## **Конспект:**

### **Пиджак. Стена. Скрижаль**

Просмотрел все написанное вчера – и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому «Интеграл» принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей, разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы

ее знаем, это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, вой ны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой – первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь – можете вы себе вообразить, что у вас хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали\*.

Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно вос-

петь тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы – «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью – и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же – С, углерод, – но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу – единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тейлоровских экзерсисов, отходим ко сну...\*

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день – от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням Марша проходят проспектом, третьи – как я сейчас – за письменным



столом. Но я твердо верю – пусть назовут меня идеалистом и фантазером, – я верю: раньше или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, то есть неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя – пусть даже зачаточная – государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством – только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, то есть уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, – это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет – это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Кан-

ты вместе (потому что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, то есть основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбководство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки – во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, то есть зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время откуда-то со дна, из мохнатых глубин, – еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью, только изредка. К счастью, это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжелая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S, – кажется, мне случилось видеть его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

## Комментарии

*...я не могу представить город, не Одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.*

Скрижаль придумана Замятиным еще в Англии, ее прообраз появляется в повести «Островитяне». Поклонникам СССР описанный мир Единого Государства может показаться очень комфортным, ведь в нем, в сущности, нет проблем.

На самом деле об этом мире можно сказать словами Воланда: «Чего нехватишься, ничего нет». Только что Д-503 описал, что из города нельзя выйти, нельзя путешествовать, можно только гулять по проспекту. Судя по тому, как ста-

рательно рассказчик оправдывает это ограничение, желание выйти за границы стены появляется постоянно и время от времени становится почти неодолимым. Обитатели «Едино-го Государства» принуждают себя не мечтать о подобном. Даже в мире Оруэлла «1984» можно выехать за город на прогулку.

В Едином Государстве все желания упрощены до примитивизма. Едят «нумера» все одно и то же, все – одновременно – то есть в принципе не могут наслаждаться пищей, они насыщаются как скот распаренными отрубями. Они не читают интересных книг и не слушают музыку – есть только бравурные оды во славу Благодетеля и музыка – тоже во славу. Нельзя путешествовать, поехать на море, отправиться в горы, нельзя играть в спортивные игры в свое удовольствие, рисовать – просто потому что нравится, тоже нельзя. Танцевать? Только если этот танец похож на движение механизмов. Одеваться можно только в унифы. Нумера счастливы, потому что они не знают, что есть тысячи и тысячи «можно».

Стоит сравнить мир романа с концовкой рассказа Джерома «Новая утопия»: «Сквозь открытое окно я слышу шум и суету старой, милой жизни. Люди сражаются, стремятся, работают и пробивают себе дорогу... Люди смеются, грустят, любят, совершают злодеяния, творят великие дела, падают, борются, помогают друг другу – живут!» Герой приходит в восторг, когда осознает, что мир «Новой Утопии» ему только приснился.

*И, сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тейлоровских экзерсисов, отходим ко сну...*

В стихотворении «Гудки» («Поэзия рабочего удара», 1918) Гастев заявляет: «...утром, в восемь часов, кричат гудки для целого миллиона. // Теперь мы минута в минуту начинаем вместе. // Целый миллион берет молот в одно и то же мгновение». Все в точности так, как у Замятина в романе.

И главное тут не только в том, что все обитатели Единого Государства одновременно едят нефтяную пищу и выходят гулять одновременно, но и думать всем положено одинаково.

Евгений Замятин описал подобное единомыслие в 1932 году в эпизоде со студентом:

«Вот, для заключения моего короткого очерка, диалог между мной и студентом:

СТУДЕНТ (увидев в руках у меня какую-то советскую газету): А скажите, правда, что до революции были журналы и газеты разных партий, и все читали, кто что хотел?

Я: Да, правда.

СТУДЕНТ: И в этих газетах об одной и той же вещи, например – о войне, печатались разные статьи, разные мнения?

Я: Да, разные.

СТУДЕНТ: Не понимаю, как это могло быть! Ведь о войне – только наше, партийное, мнение правильно: зачем же печатать остальные?

Зазвенел звонок: начало лекции. Наш разговор кончился...»<sup>33</sup>

### *Тейлоровские экзерсисы*

*Фредерик Уинслоу Тейлор* (1856–1915) – американский инженер, основоположник научной организации труда и менеджмента. Тейлор проанализировал и обобщил рабочие процессы, создав теорию, получившую название «Тейлоризм», ее цель – повышение экономической эффективности и производительности труда. Это первые опыты применения науки для создания процессов управления.

---

<sup>33</sup> Евгений Замятин «Советские дети». Первая публикация *Marianne. Paris, 1932. 21 decembre. P. 7* (на фр. яз.; загл.: *Enfants Sovietiques*); впервые на рус. яз.: *Сочинения. Т. 4. С 565–570.*



## Фредерик Уинслоу Тейлор

При этом сам он на производстве начинал рабочим, а поднялся до должности главного инженера. Вместо того чтобы учиться в Гарвардском университете, Тейлор стал подмастерьем модельера и слесаря, получив опыт работы в Enterprise Hydraulic Works в Филадельфии (компания по производству насосов, владельцы которой были друзьями семьи Тейлор). Когда Тейлор закончил свое четырехлетнее ученичество, он стал в 1878 году рабочим механического цеха на металлургическом заводе Мидвейл. В Мидвейле его быстро повысили до клерка, затем – до подмастерья-механика, потом – начальника бригады над токарными станками, мастера механического цеха, директора по исследованиям и, наконец, главного инженера завода (Тейлор при этом оставил за собой должность мастера механического цеха).

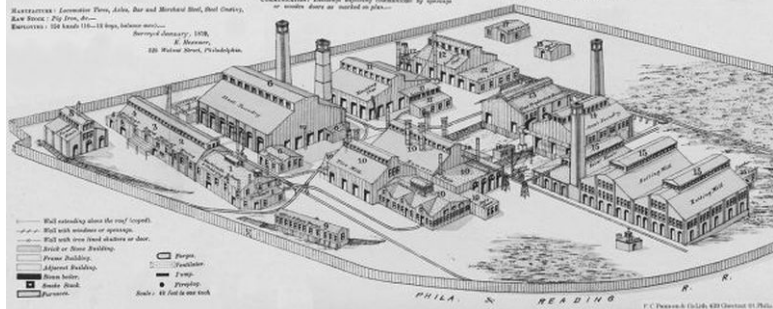


# Midvale Steel Works, Norton, 28th Ward, Philadelphia.

MANUFACTURE: Locomotive Flues, Axles, Bars and Merchant Steel, Steel Castings,  
Raw Steel. Pig Iron, &c.—  
EMPLOYMENT: 124 hands 115—123 boys, balance men—  
Borrowed Machinery: 1000,  
H. Warner,  
120 Walnut Street, Philadelphia.

DESIGN: by a corporation: Wm. Sellers, President—  
ENGINEERING: and executed in the office of the Engineer—  
NAME: Midvale Steel Works—  
LOCATION: Situated in Norton, 28th Ward, Phila., Pa.—  
AGE: Buildings erected from 1868—1875—  
CONSTRUCTION: Steel—  
CONSIDERATIONS: Buildings adjoining communications by springs  
or water doors as marked on plan—

PAVING: Stone—  
HEAVY: concrete, from 18"—20' in mass and from 20"—30' in peak of roof—  
LAVATORY: Set place—  
WATER: Steel-weld mostly 11" thick with 25' pillars—  
ROOF: Of wood, shingle or corrugated iron roof and iron roof  
trussing in gas producing house, No. 15—



Завод Мидвейл, где сделал свою карьеру Фредерик Тейлор

Алексей Гастев, развивая идеи Тейлора, призывал распространить «социалистическое нормирование» на весь быт рабочего класса: «Нормировочные тенденции внедряются в... социальное творчество, питание, квартиры и... даже в интимную жизнь вплоть до эстетических, умственных и сексуальных запросов пролетариата».

# **Запись 4-я**

## **Конспект:**

### **Дикарь с барометром**

### **Эпилепсия**

### **Если бы**

До сих пор мне все в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня... Не понимаю.

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудитории 0, как она мне и говорила. Хотя вероятность была –  $1500/10\,000\,000 = 3/20\,000$  (1500 – это число аудиториумов, 10 000 000 – нумеров). А второе... Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнечный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп – милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похоже... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне – желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот – звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государ-

ства – и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолатор.

– «Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу двадцатого века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на „дожде“, действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он выковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на „дождь“ (на экране – дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же как дикарь, европеец хотел „дождя“ – дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря по крайней мере было больше смелости и энергии и – пусть дикой – логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому...»

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) – тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось – все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолатор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик – причина, музыка – следствие), к описанию

недавно изобретенного музыкаметра.

– «...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков „вдохновения“ – неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, – музыка Скрябина – двадцатый век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес, и там – их древнейший инструмент) – этот ящик они называли „рояльным“ или „королевским“, что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка...»

И дальше – я опять не помню, очень возможно потому, что... Ну, да скажу прямо: потому что к «рояльному» ящику подошла она – I-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы... Улыбка – укус, сюда – вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, – ни тени разумной механичности. И конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я – я?

Да, эпилепсия – душевная болезнь – боль. Медленная, сладкая боль – укус – и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно – солнце. Не наше, не это голубовато-хру-

стальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи – нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце – долой все с себя – все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево – на меня – и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел – на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я – снова я.

Как и все, я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фоно-лектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху – вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов – и суммирующие аккорды формул Тейлора, Маклорена\*; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты – спектральный анализ планет... \* Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем – кроме диких фантазий – не ограниченная музыка древних...

Как обычно, стройными рядами, по четыре, через широкие двери все выходили из аудиториума. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома – скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic!) дом – моя крепость» – ведь нужно же было додуматься!

В 21 я опустил шторы – и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик – и розовый билетик. Я оторвал талон и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента – 22.15.

Потом показал ей свои «записи» и говорил – кажется, очень хорошо – о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала – и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья – прямо на раскрытую страницу (стр. 7-я). Чернила расплылись. Ну вот, придется переписывать.

– Милый Д, если бы только вы, если бы...

Ну что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое – относительно... относительно той? Хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.

## Комментарии

*Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов – и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена...*

В Едином Государстве соединили в единое целое математика *Брука Тейлора* (1685–1731) и Тейлора – создателя теории научной организации труда.



Брук Тейлор. Художник Louis Goussier, 1720 г.



*Ряд Тейлора* – разложение функции в бесконечную сумму степенных функций. Частный случай разложения в ряд Тейлора в нулевой точке называется рядом Маклорена. Ряд Тейлора и формула Тейлора используются в математическом анализе.

*...грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты – спектральный анализ планет...*

*Линии Фраунгофера* представляют собой набор спектральных линий поглощения, названных в честь немецкого физика *Йозефа фон Фраунгофера* (1787–1826).



Йозеф фон Фраунгофер. Портрет работы неизвестного художника

Линии Фраунгофера являются типичными спектральными линиями поглощения. Линии поглощения – это темные линии, узкие области с пониженной интенсивностью, которые являются результатом поглощения фотонов при прохождении света от источника к детектору через более холодное прозрачное вещество. На Солнце линии Фраунгофера являются результатом прохождения фотонов через солнечную атмосферу, которая имеет более низкие температуры, чем газ во внутренних областях. Более холодный газ поглощает некоторые участки спектра, излучаемого из внутренних областей, при этом линии Фраунгофера соответствуют длине волны света, поглощенным тем или иным химическим элементом во внешних частях солнечной атмосферы. Линии Фраунгофера используют для определения состава Солнца и других звезд.

# **Запись 5-я**

## **Конспект:**

### **Квадрат**

#### **Владыки мира**

#### **Приятно-полезная функция**

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый, – ну да все его знают. А между тем вы – на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии – кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе – квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это – равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона\*.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром»\*. Ergo: чтобы овладеть миром – человек должен овла-

деть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне – о войне между городом и деревней\*. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой «хлеб»<sup>34</sup>\*. Но в 35-м году – до основания Единого Государства – была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища\*. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато, очищенное от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть – это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался, потому что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний разговор на прогулке), потому что любви одних добивались многие, других – никто.

Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраический = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира – против Любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, то есть организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический *Lex sexualis*: «всякий из нумеров имеет

---

<sup>34</sup> Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен.

право – как на сексуальный продукт – на любой номер».

Ну, дальше там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови – и вырабатывают для вас соответствующий Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться номером таким-то (или таким-то), и получаете надлежащую талонную книжечку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти нет уже никаких, знаменатель дробь счастья приведен к нулю – дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий, у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

...Странно, я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, а внутри как-то облачно, паутинно и крестом – какой-то четырехлапый икс. Или это мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами – мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них – и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно —

Хотелось зачеркнуть все это – потому что это выходит из

пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи, как тончайший сейсмограф, дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником —

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии — никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри — все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) — просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неизвестные мои читатели. Но я верю — вы не будете слишком строго судить меня. Я верю — вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие — для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

## Комментарии

*...для меня это — равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.*

Формула для разложения на отдельные слагаемые неотрицательной степени суммы двух переменных.

Например, самая простейшая:  $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ .

*Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром».*

«Любовь и голод правят миром» – заключительная строка стихотворения «Мировая мудрость» Иоганна Фридриха Шиллера (1759–1805).

*...я говорю о Великой Двухсотлетней Войне – о войне между городом и деревней.*

Возможно, намек на продразверстку, практиковавшуюся в России с 1916 по 1921 год.

Вот как описывал Замятин деятельность большевиков в деревне в период военного коммунизма:

«Проникли в деревню и допустили здесь маленькую „ошибку“, как недавно назвал это Луначарский. И в деревне из страха реквизиций съеден весь скот, съедены лошади, съедены семена. После веселой коммунистической игры на „деревенскую бедноту“, конечно, уже никто не станет сеять „излишков“: выгодней быть записанным в привилегированное сословие „бедноты“...»<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Евгений Замятин «Беседы еретика».





## И. Владимиров. Реквизиция хлеба

В лекции «Современная русская литература» Е. Замятин одной из черт неореализма называл антиурбанизм, обращенность «в глушь, в провинцию, в деревню, на окраины», потому что «жизнь больших городов похожа на жизнь фабрик: она обезличивает, делает людей какими-то одинаковыми, машинными».

*Но в 35-м году – до основания Единого Государства – была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища.*

Ср. у Джерома К. Джерома в «Новой утопии», где все пи-

таются кашей и сухофруктами:

«В восемь часов завтрак. На взрослого гражданина отпускается по пинте овсянки и по полпинты теплого молока. <...> В час опять бьет колокол, и мы собираемся к обеду, состоящему из бобов, компота из фруктов, два раза в неделю подается еще пудинг, а по субботам – плумпудинг. В пять часов чай, а в девять огни тушатся, и все ложатся спать».

# **Запись 6-я**

## **Конспект:**

### **Случай**

#### **Проклятое «ясно»**

#### **24 часа**

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) там, где уже ничего не случается, а у нас... Вот не угодно ли: в Государственной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из номеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И, кроме того, нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, то есть в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же...

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг – телефон.

– Д-503? – женский голос.

– Да.

– Свободны?

– Да.

Это я, I-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

I-330... Эта I меня раздражает, отталкивает – почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неба и легкое солнце на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое, как щеки старинного «купидона», и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы, поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна – там, за Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца – вниз, вниз, вниз, как с крутой горы, – и мы у Древнего Дома. Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери – старуха, вся сморщенная, и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос – и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же заговорила.

– Ну что, милые, домик мой пришли поглядеть? – И морщины засияли (т. е., вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли»).

– Да, бабушка, опять захотелось, – сказала ей I.

Морщинки сияли:

– Солнце-то, а? Ну что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Зна-ю, знаю! Ну, ладно: одни идите, я уж лучше тут, на солнце...

Гм... Вероятно, моя спутница – тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть – мешает: вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой синей майолике.

Когда поднимались по широкой, темной лестнице, I сказала:

– Люблю я ее – старуху эту.

– За что?

– А не знаю. Может быть – за ее рот. А может быть – ни за что. Просто так.

Я пожал плечами. Она продолжала, улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь:

– Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не «просто-так-любовь», а «потому-что-любовь». Все стихии должны быть.

– Ясно... – начал я, тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на I: заметила или нет?

Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены – как шторы.

Вспомнилось: вечером, около 22, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных, прозрачных клеток – темные,

с опущенными шторами, и там, за шторами —

Что у ней там, за шторами? Зачем она сегодня позвонила и зачем все это?

Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь — и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). Тот самый, странный, «королевский» музыкальный инструмент — и дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм. Белая плоскость вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза — канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравниения линии мебели.

Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм.

— Это — самая моя любимая... — и вдруг будто спохватилась — укус-улыбка, белые острые зубы. — Точнее: самая нелепая из всех их «квартир».

— Или еще точнее: государств, — поправил я. — Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как...

— Ну да, ясно... — по-видимому, очень серьезно сказала I. Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху были тоже частной собственностью). И снова комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный «камин», большая, красного дерева кровать. Наше теперешнее — прекрас-

ное, прозрачное, вечное – стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков-окон.

– И подумать: здесь «просто-так-любили», горели, мучились... (опять опущенная штора глаз). – Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, не правда ли?

Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но в улыбке у ней был все время этот раздражающий икс. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое – не знаю что, что выводило меня из терпения; мне хотелось спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходилось соглашаться – не согласиться было нельзя.

Вот остановились перед зеркалом. В этот момент я видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые «квартиры», – человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза. Она как будто угадала – обернулась. «Ну, вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно, молча.)

Передо мною два жутко-темных окна, и внутри такая неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь – пылает там какой-то свой «камин» – и какие-то фигуры, похожие...

Это, конечно, было естественно: я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и непохоже на меня (очевидно, это было удручающее действие обстановки) – я определенно почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни.

– Знаете что, – сказала I, – выйдите на минуту в соседнюю комнату. – Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон-глаз, где пылал камин.

Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина)\*. Отчего я сижу вот – и покорно выношу эту улыбку, и зачем все это: зачем я здесь, отчего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра...

Там стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда, и – точно не помню: вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.

Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка – мне было ясно видно: чулки очень длинные, гораздо выше колен, и открытая шея, тень между...

– Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы...

– Ясно, – перебила I, – быть оригинальным – это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным – это нарушить равенство... И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным», у нас значит: только исполнять свой долг. Потому что...

– Да, да, да! Именно. – Я не выдержал. – И вам нечего, нечего...





Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь глаз, там, внутри, за своими окнами, сказала на этот раз, кажется, совершенно серьезно (может быть, чтобы смягчить меня), сказала очень разумную вещь:

– Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели – поклонялись им. Какой рабский дух! Не правда ли?

– Ясно... То есть я хотел... (Это проклятое «ясно»!)

– Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас...

– Да, у нас... – начал я. И вдруг она рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.

Помню – я весь дрожал. Вот – ее схватить – и уж не помню что... Надо было что-нибудь – все равно что – сделать.

Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без десяти 17.

– Вы не находите, что уже пора? – сколько мог вежливо сказал я.

– А если бы я вас попросила остаться здесь со мной?

– Послушайте: вы... вы сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудитории...

– ...И все нумера обязаны пройти установленный курс искусства и наук... – моим голосом сказала I. Потом отдернула

штору – подняла глаза: сквозь темные окна пылал камин. – В Медицинском Бюро у меня есть один врач – он записан на меня. И если я попрошу – он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну?

Я понял. Я наконец понял, куда вела вся эта игра.

– Вот даже как! А вы знаете, что, как всякий честный нумер, я, в сущности, должен немедленно отправиться в Бюро Хранителей и...

– А не в сущности (острая улыбка-укус). Мне страшно любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?

– Вы остаетесь? – я взялся за ручку двери. Ручка была медная, и я слышал: такой же медный у меня голос.

– Одну минутку... Можно?

Она подошла к телефону. Назвала какой-то номер – я был настолько взволнован, что не запомнил его, и крикнула:

– Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна...

Я повернул медную холодную ручку:

– Вы позволите мне взять аэро?

– О да, конечно! Пожалуйста...

Там, на солнце, у выхода, как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот и что она заговорила:

– А эта ваша – что же, там одна осталась?

– Одна.

Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость

и рискованность поведения этой женщины.

Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не одна. Может быть, именно это – что я невольно обманул старуху – так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна: вот в чем дело.

После 21.30 у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заявление.

Но я после этой глупой истории так устал. И потом, законный срок для заявления двое суток. Успею завтра: еще целых 24 часа.

## Комментарии

*...физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина).*

Намек, что город Единое Государство расположен на территории России (вряд ли где-то еще можно обнаружить в квартире портрет Пушкина).



Портрет Александра Пушкина. Константин Сомов, 1899 г.

**Запись 7-я**  
**Конспект:**  
**Ресничный волосок**  
**Тейлор**  
**Белена и ландыш**

Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом – медный Будда; вдруг поднял медные веки – и полился сок: из Будды. И из желтого платья – сок, и по зеркалу капли сока, и сочтись большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам – и какой-то смертельно-сладостный ужас...

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда... что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних это было самое обыкновенное и нормальное – видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была вот такая ужасная карусель: зеленое – оранжевое – Будда – сок. Но мы-то знаем, что сны – это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь... Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу, какое-то инородное тело – как

тончайший ресничный волосок в глазу: всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском – нельзя о нем забыть ни на секунду...

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовье: 7, встать. Справа и слева сквозь стеклянные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения – повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.

Да, этот Тейлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки – он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24. Но все же как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте – и едва замечать Тейлора – этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед.

Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Государства. Стройно, по четыре – к лифтам. Чуть слышное жужжание моторов – и быстро вниз, вниз, вниз – легкое замирание сердца...

И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон – или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера так же на аэро – спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка. И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.

В вагоне подземной дороги я несея туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижимое, еще не одухотворен-

ное огнем, изящное тело «Интеграла». Закрывши глаза, я мечтал формулами: я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать «Интеграл» от земли. Каждый атом секунды – масса «Интеграла» меняется (расходуется взрывное топливо). Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами.

Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире, кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал «простите».

Я приоткрыл глаза – и сперва (ассоциация от «Интеграла») что-то стремительно несущееся в пространство: голова – и она несется, потому что по бокам – оттопыренные розовые крылья-уши. И затем кривая нависшего затылка – сутулая спина – двоякоизогнутое – буква S...

И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира – снова ресничный волосок – что-то неприятное, что я должен сегодня —

Ничего, ничего, пожалуйста, – я улыбнулся соседу, раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711\* (понятно, почему от самого первого момента был связан для меня с буквой S: это было не зарегистрированное сознанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза – два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому...

Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен:



один из них, из Хранителей, и проще всего, не откладывая, сейчас же сказать ему все.

– Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме... – Голос у меня странный, приплюснутый, плоский, я пробовал откашляться.

– Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.

– Но, понимаете, был не один, я сопровождал номер I-330, и вот...

– I-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.

...Но ведь и он – тогда на прогулке – и, может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом – нельзя, невысказано: это ясно.

– Да, да! Как же, как же! Очень, – я улыбался все шире, нелепей и чувствовал: от этой улыбки я голый, глупый...

Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, ввинтились обратно в глаза; S – двойко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу.

Я закрылся газетой (мне казалось, все на меня смотрят) и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка:

«По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благотельного ига Государства».

«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: «преступные». Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как... ну, как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений – это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в космическом масштабе века это, конечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки...

Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 иду туда непременно...

В 16.10 вышел – и тотчас же на углу увидал О, всю в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня...» Впрочем, нет, в поддержке я не нуждался: я решил твердо.

Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода – все тот же ежедневный Марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности!

О схватила меня за руку.

– Гулять, – круглые синие глаза мне широко раскрыты – синие окна внутрь, – и я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь: ничего – внутри, то есть ничего постороннего, ненужного.

– Нет, не гулять. Мне надо... – я сказал ей куда. И, к

изумлению своему, увидел: розовый круг рта сложился в розовый полумесяц, рожками книзу – как от кислого. Меня взорвало. – Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня, но это просто тупость.

– Вы идете к шпионам... фу! А я было достала для вас в Ботаническом Музее веточку ландышей...

– Почему «А я» – почему это «А»? Совершенно по-женски. – Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши. – Ну вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имейте же логики хоть настолько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо? Не можете, ну? Есть запах ландыша – и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве – и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион – это белена, тут шпион – ландыш. Да, ландыш, да!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.